

Труд - 1998 - 15 апр. - с. 4

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: РОССИЯ — ЭТО ВАМ НЕ “ТИТАНИК”

— В 1976 году вы уехали из СССР, уже будучи известным скульптором, и впервые после этого вернулись на родину спустя 20 лет. Не могли бы вы рассказать об обстоятельствах вашего отъезда?

— Сейчас, когда открыты многие секретные архивы, следует внести ясность в мой отъезд на Запад. Я не уезжал. Меня “уехали”. Я нигде не собирался уезжать. Лишь требовал возможности работать за рубежом, потому что у меня было 67 рабочих приглашений. Среди них — от бразильского архитектора Нимейера и от папского престола, который предложил строительство церкви. Но меня не выпускали, я был плотно невыездным. Поэтому бунтовал. И тогда мне от Андропова было предложено прекратить шум и обещано решить выездной вопрос. Этим советом я не успел воспользоваться, так как довольно скоро стало известно, что Андропов, который хотел, чтобы я получил заграничный паспорт сроком на два года, проиграл. Так получилось, что по времени этот эпизод совпал с другой проблемой — Андропову пришлось отстаивать перед кремлевскими ортодоксами вопрос о продлении срока действия заграничного паспорта для Ростроповича. Мне прямо было сказано, что я должен уехать насовсем.

Я уехал, но мне пришлось потерпеть. Почему-то меня подключили к делам об особо опасных валютных операциях Зубка и “Новоэкспорта”, к чему я никакого отношения не имел. Военная прокуратура пыталась привлечь меня и к делу Вадима Камолова из АПН, которого обвиняли в шпионаже. После отъезда было возбуждено дело об убийстве в моей рабочей студии. Такого убийства не было, а студию позже снесли. Это была фикция и подставка. Уехал я по приглашению несуществующих в природе родственников. Так что я не уезжал, а меня вывели из страны.

— Многих ваших друзей-диссидентов, которые, можно сказать, жизнь положили на то, чтобы расшатать прежний строй, после его исчезновения в 1991 году постигло глубокое разочарование, когда они увидели, что происходило в стране. Они явно иначе представляли себе облик демократии...

— Надо внести ясность: я никогда себя не ощущал диссидентом. И от этой “честь” всегда отказывался и здесь, на Западе. В моем понимании диссидент — это человек, который не согласен с социальными структурами и хочет их резко изменить революционным или эволюционным путями. Допустим, разогнать колхозы, изменить что-то в экономике, в законодательстве. У меня никогда не было таких претензий, потому что я никогда не вмешиваюсь в то, чего не понимаю. Что со мною происходило? Я отстаивал свое право работать хорошо, как сам это понимал. Более того, я никогда не требовал, чтобы, скажем, Кербель или Вучетич лепили иначе. Это их дело. Я просто настаивал на том, чтобы мне разрешили делать так, как я хочу. Это право любого художника. Нигде в мире это не рассматривается как диссидентство.

Во-вторых, я отстаивал право на человеческое достоинство. Не хотел, чтобы меня называли “дерьмом собачьим”, как сделал в свое время Хрущев, не хотел, чтобы мною помыкали. Защищать свою честь — право любого человека. Но такая позиция была возведена в ранг диссидентства. Потому что тогда в стране лизоблюдов и рабов любое проявление человеческого достоинства казалось революционным.

Теперь насчет моих друзей — Зиновьева, Максимова, Синявского, с которым не был дружен, но находился в достаточно приятельских отношениях, и других. Я думаю, что с ними произошла закономерная вещь, которая со мной не случилась, наверное, в силу обстоятельств рождения. Дело в том, что я родился в семье, которая была лишена гражданских прав. Мой отец был белым офицером. Отцовские братья служили у Колчака, Дутова, Антонова во время гражданской войны. Моя мать — Белла Дежур из сефардского рода испанского происхождения. Вырастая в такой семье, я не мог питать иллюзий по поводу своего светлого будущего. А поэтому не было и разочарований.

Мой отец, ярый антисоветчик (а многие его высказывания напоминали слова профессора Преображенского из “Собачьего сердца”), сохранил себе жизнь только благодаря тому, что был блестящим детским хирургом. Его не трогали, считая болтуном и чудачком из бывших, потому что хотели, чтобы он лечил детей не лагерного, а свердловского местного начальства. Он занимал положение спеца. Воспитанный в таком духе, уже в то время, когда институт спецов был ликвидирован, я хотел взаимоотношений с обществом как спеца, попутчик. Но они уже были не нужны. И в этом была моя трагедия.

Я никогда не говорил, что не хочу сотрудничать с государством. Я скульптор. А значит, должен был работать и выставляться. Правда, хотел этого на своих условиях. Кроме того, надо мною довлела огромная раздвоенность. Скульптор в принципе строитель, поэтому он не может быть разрушителем. А жизнь меня все время толкала в стан разрушителей, чему я сопротивлялся.

Каким образом часть людей, которые считались диссидентами — борцами с режимом, вдруг после того как совершилось то, чего они хотели, изменили свое мнение по поводу происходящего? У меня есть совершенно четкая точка зрения. За исключением Сахарова, который был гуманистическим мыслителем, и Быковского, который, хоть и диссидент, но обладал политически конструктивными мозгами, все известные диссиденты, все эти “протестанты”, были, по существу, учениками советской школы, она же приучала мыслить в пределах марксистской диалектики.

Маркс был гениальным человеком — но в той части, где он критиковал капитализм своего времени. Но у Маркса вторая часть — футурологическая — в лучшем случае была утопической. Поэтому и мои друзья хотя и считали себя антимарксистами, но были марксистами по методу мышления. И когда свершилось то, чего жаждали, они разочаровались. Ибо все произошло не так, как они хотели. Оказалось, что во всем, что касалось жизнеустройства, они — архаисты. Одни тяготели к земству, другие — к каким-то сторонам социализма, которые им импонировали. Нового ничего не могли предложить. Кстати, такие люди, которые были членами компартии, как мой ближайший друг Мераб Мамардашвили, не обладали марксистским мышлением, бу-



Прогулка по апрельскому Парижу.

дучи коммунистами. Мераб был философом по существу, а поэтому озлобления у него не могло быть. Он жил “на другом этаже”. Я сделал для него монумент, который будет открыт вскоре в Тбилиси. Он считал, что неприятие жизни такой, какая она есть, — главный грех философов.

— Разочарование, о котором вы говорили, довольно глубоко укоренилось в современном российском обществе, особенно если говорить о творческой интеллигенции. Место идеологической зашоренности занял денежный мешок, для которого понятие культуры частенько является пустым звуком... Буйного расцвета культуры пока не видно.

— Мне не нравится многое из того, что происходит в стране. Но я и не ожидал многого. Дело в том, что за тот период, который назывался советской властью, очень много было плохого, но были и завоевания. Социальные. Больше того, этими социальными завоеваниями воспользовался Запад, внедряя у себя различные социальные гарантии. Не буду вдаваться в проблемы экономической поддержки пенсионеров, бездомных и безработных. Эти проблемы по определению являются социалистическими. Они — интеграционные элементы двух систем, как говорил Сахаров. Скажу об искусстве и культуре.

Когда я приехал в Москву в конце 80-х при Горбачеве, всех удивило, что я вдруг выступил в прессе, по существу, в защиту как бы враждебных мне позиций. Я выступил против снятия монументов, которые ставили людям, загубившим мою жизнь, считая, что памятники — часть истории страны и их истреблять нельзя. Выступил за социальную защиту художников, то есть за то, против чего я раньше боролся. Ведь основная моя позиция тогда была — оставьте меня в покое, не помогайте, но и не мешайте.

Почему я изменил позицию? На Западе я понял, что вдруг оставив художника, возвращенного в советских условиях, лицом к лицу с суровой действительностью, — это примерно то же самое, как если у кошки вырвать зубы и когти, а потом пустить в лес охотиться. Это и несправедливо, и не гуманно. А также социально неверно, ибо на Западе за многие столетия воспитан класс меценатов, который привык покупать произведения искусства, там есть законодательство, которое создает выгодные условия списания с налогов сумм при меценатской помощи любым видам культуры. Я включен в состав советников президента России по культуре и настаиваю на том, чтобы было принято подобное законодательство. Правда, я столкнулся с удивительным непониманием. Один чиновник высказался в том духе, что, мол, мое предложение прекрасно, но пусть меценат отдаст деньги государству, а оно будет списывать процент с налога, а также распределять, кому их передать. На это я возразил: такой подход — лишь форма побора. Меценат должен сам выбирать адресата своей помощи. А вы предлагаете мужской детородный орган отдавать вам, а вы будете решать, кого оплодотворять.

— Вопрос, от которого не уйти. Та известная стычка в Манеже с Хрущевым — как повлияла она на вашу жизнь?

— Действительно, я очень люблю этот вопрос. Но тем не менее отвечу. Художником я был до встречи с Хрущевым. И очень печально, что о художнике широкая общественность узнает из скандалов. Но еще Бисмарк сказал: “Если ты не интересуешься политикой, то политика неизбежно заинтересует тебя”. Это моя судьба.

Для меня то был период большого разочарования в жизни. От моего отца я унаследовал государственный патриотизм. Поэтому и пошел добровольцем на фронт. Раньше мне с моим романтическим сознанием, этим анахронизмом юности, все время казалось, что где-то внизу, если ты сталкиваешься с рептильными, неразвитыми существами, — это беда, но терпима. А вот люди наверху все-таки окрашены неким пурпуром власти. И вдруг я столкнулся просто с людоедами в плохо сшитых пиджаках, которые боятся собственных жен. Меня потряс абсолютно бытовой уровень наших руководителей. Каким образом эти старика с добродушными физиономиями смогли

ухайдакать миллионы людей? Каким образом это смог сделать Гиммлер — мне понятно. А там были просто переросшие свои размеры обыватели. Это было для меня шоком.

— На выставке в Париже была представлена малая часть из того, что вы сделали за последние годы. Ваша серия “Древо жизни”, другие работы — это осмысление того, что произошло с миром, с Россией в нынешнем столетии, тысячелетии?

— На выставке показана, может быть, даже тысячная часть работ. “Судьба художника” — это 365 листов. Поток “XX век” — на выставке 19 картин, а у меня их несколько тысяч. Это было подготовкой к “Древу жизни”. Оно замышлялось как 150-метровое сооружение. Ког-

да Борис Николаевич подарил модель “Древа жизни” ООН и я выступал на той церемонии, то сказал, что раньше я мечтал, что ООН будет находиться внутри моего здания — скульптуры “Древа жизни”, а сейчас маленькая модель находится внутри ООН, и это справедливо. Потому что жизнь делает поправку на претензии утопических художников. И, видимо, Вавилонские башни не нужно строить. Архитектурный совет при Лужкове решил поставить мое семиметровое “Древо жизни” в семиметровом же исполнении перед зданием бывшего СЭВа, а ныне московского муниципалитета. Это правильно.

— Ваши работы — это и “мостики” к философам, мыслителям как древности, так и наших дней.

— Я не овеществляю свою философию в изобразительных формах. Я спонтанный человек, работаю почти что в трансе. Но потом осмысливаю, что сделал, нахожу какие-то теоретические и интеллектуальные обоснования. Это не ново. Я не сравниваю себя с этими людьми, но таким образом работали Леонардо, Микеланджело, Делакруа, Ван Гог и даже Репин.

— Чем для вас был проект памятника жертвам репрессий?

— Он был задуман как монумент, распростертый от Свердловска-Екатеринбурга до Воркуты и Магадана. Своего рода “Треугольник страдания”. К сожалению, два из трех элементов не удалось реализовать, а в Магадане смогли поставить. Монумент такого рода не может быть политизирован. Ибо в противном случае он будет нечестен. Там поставлены камни всем конфессиям — и христианам, и буддистам, и иудеям. Более того, есть там камень коммунистам — с серпом и молотом, есть и агностикам. И это справедливо, потому что была та драма не какой-то партии, социальной группы людей, а драма, выходящая за все эти рамки: трагедия народа.

— Над чем сейчас работаете?

— Я закончил семиметровое “Древо жизни” и сейчас, когда решение архитектурного совета при Московской мэрии одобрило проект, надо начинать его отливать в бронзе, а это отнимет массу времени и сил.

— Как вы относитесь к творчеству Церетели, вокруг имени которого в Москве ведутся ожесточенные споры?

— Это, бесспорно, исключительно талантливый человек. Не все у него удачно, что-то лучше, что-то хуже, как это бывает у всех. Я в свое время сильно пострадал от того, что художественные советы, руководство постоянно оценивали мои работы. Поэтому я никогда не даю оценки работам коллег.

Вот вы спрашиваете о Церетели, а я думаю о памятнике Юрию Долгорукому. Студентом я нанялся к скульптору Орлову, который делал Долгорукого, и был у него на подхвате. Тогда ненавидел этот монумент. Прошло 50 лет, во время празднования 850-летия Москвы я сидел на трибуне перед памятником и внимательно его рассматривал. И понял, что это прекрасный, уважаемый памятник, который делает честь любому европейскому или американскому городу. Нужно, чтобы прошло время.

— Как вам видится будущее России?

— Еще в 60-х я написал одну вещь, которая была опубликована в 70-х. Там было сказано примерно так: я не верю в детерминизм истории, а верю в то, что происходит в сердцах и умах людей. Я не согласен с пессимизмом Зиновьева. Изменения неизбежны. Они произойдут сверху. И я думаю, что коммунисты еще запоят в Кремле “Боже, царя храни”. Тогда я обладал безумием Кассандры, чтобы предсказывать. Я не был ученым, политологом, и высказывал безумные гипотезы. И оказался прав. Сейчас у меня нет футурологического представления о будущем. Единственное, в чем я уверен, — Россия, такое мощное евроазиатское геополитическое тело, с таким талантливейшим народом, не уйдет на дно, как “Титаник”. Через страдания она утвердится и станет одной из величайших держав мира. Это неизбежно.

Беседа вел Вячеслав ПРОКОФЬЕВ, соб. корр. “Труда”. Фото автора.

ПАРИЖ.